

A dark, atmospheric photograph of a dilapidated staircase. The walls are covered in peeling paint and graffiti. A rusty metal railing runs along the right side of the stairs. At the top of the stairs, a window with vertical bars is visible, letting in some light. The overall mood is eerie and neglected.

Елена К.

**Ваш звонок очень
важен для нас**

Елена К.

Ваш звонок очень важен для нас

<https://litres.ru/74409377>

SelfPub; 2026

Аннотация

Книга, где реальность страшнее любого триллера.

Вы когда-нибудь замечали, как в самый обычный день вдруг гаснет свет, замирают часы, а город на секунду будто задерживает дыхание? Чаще всего мы пожимаем плечами: «Ну, техника барахлит». Но что, если за этими мелкими сбоями прячется чья-то холодная расчётливость?

Эта история началась с одной минуты — 14:17. Она повторялась снова и снова: в разных городах, в разных делах, в судьбах совершенно непохожих людей. Следовательно Инга, журналист Алиса и команда равнодушных шаг за шагом распутывали клубок, где преступлением становилась сама инфраструктура — электросети, часы, подстанции.

Книга основана на реальных расследованиях, документах и воспоминаниях очевидцев. Здесь нет выдуманных сенсаций — только факты, схемы и упрямая вера в то, что зло можно разглядеть даже в тиканье часов.

Все совпадения случайны. Наверное.

Содержание

Глава о памяти	4
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Ваш звонок очень важен для нас

Глава о памяти

Память — это тихий разговор, который мы ведём с теми, кто ушёл. Он не требует слов, не ждёт ответа, но звучит в каждом шаге, в случайном запахе, в отблеске света на знакомой вещи. Мы дорожим памятью о тех, кто покинул этот мир, не потому, что хотим удержать прошлое, а потому, что в ней живёт продолжение — незримая нить, связывающая вчера и сегодня, дыхание ушедших и биение наших сердец.

Сколько раз каждый из нас ловил себя на мысли: «Ах, если бы можно было ещё хоть раз поговорить...» Всего несколько минут, чтобы сказать самое важное, спросить о чём-то давно забытом, просто услышать родной голос, который больше не прозвучит в этой реальности. Желание это не про тоску, не про попытку вернуть невозможное — оно про любовь, которая не знает границ времени. Про благодарность, которая ищет слов. Про вину, которая просит прощения. Про надежду, что тебя всё ещё слышат где-то там, за тонкой гранью тишины.

Эта книга — о том, как мы храним эти голоса. О малень-

ких ритуалах памяти, о случайных совпадениях, которые кажутся знаками, о словах, так и не сказанных при жизни, и о том, как они всё равно находят путь к сердцу. О том, как память становится домом, куда можно возвращаться, чтобы снова почувствовать тепло руки, услышать смех, увидеть взгляд, в котором столько невысказанного.

Мы не пытаемся обмануть время и не обещаем чудес. Мы лишь собираем осколки воспоминаний и бережно складываем их в узор, который помогает дышать чуть легче. Пусть эта книга станет для кого-то пространством, где можно без спешки поговорить с тем, кого больше нет рядом. Где не стыдно плакать и не стыдно улыбаться, вспоминая. Где память — не тяжесть, а свет, который согревает даже в самую долгую ночь.

Пусть эти страницы будут тихим местом встречи. Местом, где слова, обращённые к ушедшим, не растворяются в воздухе, а обретают голос. Ведь пока мы помним — разговор продолжается.

С уважением,

Елена К.

Глава 1. Человек, который чинил всё

Есть люди, которых мир не замечает. Они не появляются в новостях, не мелькают на экранах, не оставляют следов в истории. Они просто живут — тихо, незаметно, как фонарный столб на улице, мимо которой ты проходишь каждый день и никогда не поднимаешь голову. Но если однажды этот столб

убрать, ты сразу почувствуешь, что стало темнее. Только не поймёшь, почему.

Виктор Петрович Соловьёв был таким столбом.

Ему было шестьдесят два года. Он был невысок, худ, с большими натруженными руками, которые даже на пенсии не знали покоя. Эти руки были созданы для работы — широкие ладони, толстые пальцы, сбитые костяшки. Руки, которые чинили. Всё. Краны, розетки, замки, велосипеды, детские коляски, радиоприёмники, трубы, стулья, дверные петли. Если что-то ломалось на улице Тракторной, в доме номер семнадцать, говорили: «Зови дядю Витю». И дядя Витя приходил. Всегда.

Он надевал свою серую куртку, брал сумку с инструментами — сумку, которую сшила ему жена из старого джинсового полотнища, — шёл через двор, поднимался на нужный этаж и чинил. Молча, аккуратно, без суеты. Потом отказывался от денег. Если очень настаивали — брал, но прятал в жестяную банку из-под чая, которая стояла на кухне за хлебницей. Банка была полна, но он не тратил оттуда ни рубля. Эти деньги были «за доброту», а доброту, считал он, тратить нельзя. Её можно только копить.

Его давно никто не звал полным именем. Для соседей он был дядя Витя. Для мастера на заводе, где он проработал тридцать восемь лет, — Соловьёв. Для жены — просто Витя. И только документы, которые он подписывал раз в год в паспортном столе, напоминали ему, что он Виктор Пет-

рович. Ему не нравилось это звучание — слишком официально, слишком холодно. Как будто человек с таким именем должен носить галстук и сидеть в кабинете, а не лежать под раковиной, выкручивая старый сифон.

Он родился в Сторожевом и, скорее всего, умрёт в Сторожевом. Так бывает с городами, которые не отпускают. Они держат тебя не красотой — её тут нет, — а привычкой. Каждая трещина на асфальте знакома, каждый подъезд пахнет одинаково — сыростью, кошками и чужим ужином. Каждый человек на улице — или знакомый, или знакомый знакомого. В таком городе нельзя быть чужим. Можно быть одиноким — это сколько угодно. Но не чужим.

Сторожевое стояло на берегу небольшой реки, которая летом пересыхала до ручейка, а весной разливалась так, что затапливала гаражи. Городок был маленький — тысяч тридцать, может, чуть больше, — с одной площадью, одним кинотеатром, который давно показывал фильмы, которые уже шли по телевизору, и одним рынком, где торговали всем: от картошки до ковров. Жизнь тут текла медленно, как та река, и так же пересыхала временами, оставляя после себя лишь потрескавшееся русло будней.

Может, поэтому Виктор Петрович так любил чинить. Когда ты чинишь сломанное — ты нужен. Ты видишь результат: кран не течёт, дверь закрывается, лампа горит. Мир стал чуть лучше, и ты — причина. В этом было что-то похожее на счастье. Не то большое, громкое счастье, о котором пишут в

книгах, а тихое, как тёплый пол под ногами: ты чувствуешь его, только когда наступаешь.

Он женился на Нине Павловне в двадцать три года. Ей было двадцать один. Познакомились на танцах в клубе — единственном развлечении в Сторожевом, где по субботам крутили пластинки и пахло пылью и духами. Нина танцевала с подругой, потому что кавалеров не хватало — город маленький, мужчины либо на заводе, либо в армии. Виктор подошёл к ней после третьего танца, когда музыка стихла на минуту, и сказал:

— Вы, наверное, устали. Можно, я провожу?

Она посмотрела на него — внимательно, как смотрят не на лицо, а сквозь него, будто проверяют, что за ним, — и сказала:

— Можно.

Он провожал её молча. Она тоже молчала. Было поздно, на улицах никого, только фонари и собака, которая бежала впереди, будто знала дорогу. У подъезда Нина сказала:

— Меня Ниной зовут.

— А меня Витей.

— Я знаю, — сказала она. — Мне сказали.

Кто сказал — он не узнал. В маленьком городе все знают всё раньше, чем ты успеваешь решить, стоит ли кому-то говорить.

Через полгода поженились. Свадьба была маленькая: его мать, её родители, трое друзей с завода и две подруги Нины.

Гуляли в столовой завода, потому что ресторан был дорогой, а столовая — нет. Пили водку, ели салат, танцевали под радио. Виктор танцевал с Ниной, и она положила голову ему на плечо, и он почувствовал запах её волос — пахло мылом и чем-то цветочным, он не знал, чем именно, но запомнил на всю жизнь.

Детей у них не было. Не потому, что не хотели — просто не случилось. Ходили по врачам, сдавали анализы, пили горькие микстуры. Нина плакала, когда уходила из поликлиники, но Виктору не показывала — он узнавал потом по припухшим глазам. Однажды, возвращаясь от очередного врача, он сказал:

— Нин, может, хватит. Давай просто жить.

Она молчала. Потом кивнула. Они больше не возвращались к этому. Жили вдвоём, в однокомнатной квартире на четвёртом этаже, и комната была маленькая, но им хватало. У каждого был свой угол: у Нины — у окна, где она читала и вязала, у Виктора — у стены, где стоял его верстак, который он собрал сам из старого письменного стола. По вечерам он чинил, она вязала, работал телевизор, и в комнате стоял ровный, тёплый гул, который и был, наверное, их счастьем.

Тридцать пять лет.

Они прожили вместе тридцать пять лет, и если бы кто-то спросил Виктора Петровича, что он помнит, он бы не смог сказать ничего особенного. Не было великих путешествий — дальше Москвы не ездили. Не было больших событий —

не было ни свадеб детей, ни похорон родителей, потому что родители умерли давно и тихо. Были будни. Тысячи будней, одинаковых, как бусины на нитке, и каждая — маленькая, незамечательная, но вместе они складывались в ожерелье, которое нельзя снять, потому что оно вросло в шею.

Он помнил, как Нина жарила котлеты по воскресеньям. Как она хмурилась, когда он забывал вытереть ноги у входа. Как они смотрели телевизор и она засыпала на его плече, и он не двигался, чтобы не разбудить, и рука затекала, но он терпел. Как она смеялась — негромко, коротко, будто смех стеснялся сам себя. Как она разводила цветы на подоконнике — герань, бегония, фиалка — и разговаривала с ними, будто с детьми, и Виктор думал, что, может, они и были её детьми, только молчаливыми и зелёными.

Он помнил её руки. Маленькие, с тонкими пальцами, всегда тёплые. Эти руки вязали, перебирали крупу, гладили его по голове, когда он уставал, держали его ладонь, когда они шли по улице. Он помнил, как эти руки становились старше — как появились вены, как кожа стала тонкой и полупрозрачной, как кольцо, которое он надел ей на палец в двадцать один год, стало сидеть свободнее.

Он не помнил, когда в последний раз сказал ей «я люблю тебя». Наверное, это было давно. Они перестали говорить такие вещи вслух — не потому, что перестали чувствовать, а потому, что слова стёрлись от частого употребления, как монеты. И остались действия. Он чинил ей вязальные спицы,

когда они ломались. Она варила ему борщ и клала больше сметаны, потому что он любил. Это было «я люблю тебя», только без слов.

А потом Нина умерла.

Это случилось год назад, в четверг. Обычный четверг, ничем не отличающийся от других четвергов, кроме того, что в нём умерла Нина Павловна Соловьёва, шестьдесят лет, домохозяйка, жена, лучший человек, которого знал Виктор Петрович.

Она не болела. Точнее — болела, но не говорила. Он узнал потом, когда читал справку, которую принесла врач скорой помощи: «ишемическая болезнь сердца». Нина знала. Знала и молчала. Не пила таблетки, не ходила в больницу, не жаловалась. Может, не хотела его пугать. Может, думала, что обойдётся. Может, просто не умела быть обузой — не было в ней этого, не было привычки говорить о себе. Она всю жизнь говорила о других: о нём, о соседях, о подругах, о цветах на подоконнике. О себе — никогда.

Виктор Петрович нашёл её утром. Он принёс ей чай, как каждое утро — стакан, две ложки сахара, чуть молока, — и увидел, что она лежит на боку, поджав губы, будто размышляет о чём-то. На тумбочке — недопитый стакан воды и раскрытая книга, которую она читала перед сном. Это был роман, который она взяла в библиотеке, — она любила ходить в библиотеку, единственное место в Сторожевом, где можно было побыть одной и среди людей одновременно.

Он сел на край кровати. Взял её за руку. Рука была тёплая — ещё тёплая, ещё не остывшая, ещё не знала, что хозяйка ушла. Виктор Петрович держал эту руку и не двигался. Он не кричал. Не плакал. Не звал скорую. Он просто держал руку жены и слушал, как за окном просыпается город: загудел грузовик на улице, залаяла собака, хлопнула дверь подъезда. Мир продолжался. Нина — нет.

Он держал её руку сорок минут. Потом рука остыла. И тогда он отпустил. Поднялся. Поставил стакан с чаем на тумбочку, рядом с недопитой водой. Закрыв книгу. Погладил обложку. Позвонил в скорую.

После похорон квартира стала другой. Не физически — стены те же, потолок тот же, окно то же. Но пустота имеет вес. Она давит. Она заполняет каждую комнату, каждый угол, каждую щель, и ты чувствуешь её кожей, как чувствуешь холод. Виктор Петрович ходил по квартире и видел Нину везде: в её кресле, где она читала, на кухне, где стояла её кружка с отколотым краешком, у окна, где сохли её цветы. Он не выбрасывал ничего. Её тапочки стояли у двери. Её халат висел на крючке. Её духи — дешёвые, из аптеки, пахнувшие розами, — стояли на полке в ванной, и он иногда открывал флакон, чтобы вдохнуть запах, и запах уносил его далеко, в те вечера, когда она надевала платье, пшикала духи на шею и говорила: «Ну, пошли?»

Цветы на подоконнике он поливал. Не знал как — Нина знала, сколько кому нужно воды, а он нет. Он поливал на

глаз, и герань выжила, бегония тоже, а фиалка погибла через два месяца. Виктор Петрович вынес горшок на помойку и долго стоял над мусорным баком, чувствуя, будто хоронит ещё кого-то.

Через месяц после смерти Нины соседка с третьего этажа, Тамара Ивановна, принесла ему кота. Рыжего, тощего, с надорванным ухом.

— Возьми, — сказала она. — А то задущу. Котят-то сколько, а куда их?

Виктор Петрович посмотрел на кота. Кот посмотрел на Виктора Петровича. Они поняли друг друга.

— Ладно, — сказал Виктор Петрович.

Кота он назвал Чубайсом. Не потому, что так звали политика, — он не интересовался политикой. А потому, что Нина как-то сказала, увидев по телевизору человека с рыжими волосами: «Смотри, Витя, кот такой же рыжий». Это был не тот кот и не тот человек, но слово застряло. Нина часто оставляла после себя слова, которые потом прорастали, как семена, брошенные в землю нечаянно.

Чубайс спал на подоконнике, где раньше стояли цветы, и у него было одно полезное качество: он умел молчать. Виктору Петровичу было нужно молчание, но не пустое — заполненное. Такое, когда рядом кто-то дышит, и ты это слышишь, и знаешь, что не один.

Разговаривал ли он с Ниной? Да. Каждый день. Это не было странно — по крайней мере, для него. Он говорил ей, что

было на рынке. Что помидоры подорожали, а огурцы, наоборот, подешевели, и он купил полтора килограмма, потому что дёшево. Что по телевизору опять обещали потепление, а на улице — дождь. Что коты с пятого этажа опять окотились и Тамара Ивановна ходит по двору и пристраивает их кому попало. Что Чубайс стянул со стола кусок колбасы и даже не извинился.

Иногда он задавал вопросы. «Нин, а соль куда положила? Не могу найти.» Он искал минут десять, потом находил — на полке, где и было. «Нин, ты бы видела, что Петрович с третьего этажа сотворил с лоджией — застеклил, а рамы кривые, щели пальцем проходят. Я ему говорил — не делай, нет, полез.» Он говорил это в пустоту, в воздух, в стену, и воздух не отвечал, но и не перебивал, и Виктору Петровичу этого хватало. Почти.

Год прошёл. Год без Нины. Год без её голоса, её рук, её кашля по утрам, её «Витя, вставай, чай стынет». Год, который прошёл так, как проходит всё у человека, который живёт по инерции: дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в сезон, сезон в год. И вот — годовщина. Он отметил её тем, что сварил борщ по её рецепту — она записывала рецепты в тетрадку, которую он нашёл в ящике комода, — и борщ получился не такой, как у неё. Соль не та, или руки не те, или чего-то не хватает. Чего-то очень важного, без чего борщ — просто суп, а не борщ.

В то утро, в то самое утро, когда всё началось, Виктор Пет-

рович проснулся в 7:40.

Не от будильника — будильник он не заводил, не от кого было вставать. А от Чубайса, который прыгнул ему на грудь и замурчал, как маленький двигатель.

— Ну чего, — сказал Виктор Петрович, — чего тебе.

Кот мурчал и тыкался носом в подбородок. Это означало: есть хочу.

Виктор Петрович встал. Тело ныло — давняя привычка, спина побаливала после тридцати восьми лет у станка. Натянул штаны, рубашку, прошёл на кухню. Кухня была маленькая: холодильник, плита, стол, два стула — один напротив другого. На одном он сидел. Второй был Нинин. Он не сидел на него. Не из суеверия — просто не мог.

Он включил чайник. Чайник шипел, как недовольный кот — как второй кот, злой и голодный. Кофе не было. Виктор Петрович открыл холодильник: молоко, полбанки сметаны, три яйца, сыр, почерневший с одного края. Кофе действительно не было. Он забыл купить. Нина никогда не забывала.

Чайник закипел. Виктор Петрович налил чай, положил сахар — две ложки, как любил, — нарезал хлеб, намазал маслом. Бутерброд. Каждый день — бутерброд. Иногда с сыром, иногда с колбасой, но всегда бутерброд. Нина ворчала: «Ты бы хоть суп себе варил, Витя, не можешь же ты каждый день бутербродами». Он отшучивался: «А что, вкусно». Она качала головой. Он не варил суп. Не потому, что не умел — умел. А потому, что варить суп на одного — это звучит как-

то... неправильно. Суп — это на двоих. На троих. На семью. На одного — это не суп, это еда. А есть разница.

Дождь шёл с самого утра. Мелкий, холодный, осенний — хотя стоял только сентябрь, но в Сторожевом осень приходила раньше, чем в календаре. Дождь стучал по подоконнику, по жестяному отливу, по карнизу, и вся кухня была наполнена этим ровным, монотонным звуком, от которого в городе Сторожевое все всегда становятся чуть печальнее. А может, это не от дождя. Может, от того, что городок стоит на берегу пересыхающей реки, и в нём живёт тридцать тысяч человек, и каждый второй — одинок, и каждый первый — устал, и все вместе они создают что-то вроде общего фона, общего гула, в котором печаль — не чувство, а погода.

Чубайс поел, вылизал миску и запрыгнул на подоконник. Свернулся клубком. Виктор Петрович смотрел на него и думал: хорошо коту. Кот не думает о том, что год назад умерла жена. Не считает дни. Не помнит запаха её волос. Не открывает флакон духов, чтобы вдохнуть, и не зажмуривается от боли, когда запах уносит его слишком далеко. Кот просто спит на подоконнике и ждёт, когда его покормят. Может, в этом и есть мудрость — не помнить. Может, память — это не подарок, а наказание, которое Бог даёт человеку за то, что тот слишком много берёт на себя.

Было воскресенье. Самый тихий день недели. По воскресеньям Виктор Петрович никуда не ходил. Не чинил соседям краны — ## был выходной. Не ходил на рынок — рынок по

воскресеньям был закрыт, продавцы отдыхали. Не смотрел телевизор — по воскресеньям показывали то, что он не любил: ток-шоу, где люди кричали друг на друга, и фильм, который он уже видел три раза.

Виктор Петрович сидел на кухне, пил чай с бутербродом, смотрел в окно на дождь и думал ни о чём. Вернее — о многом, но так, как думают, когда мысли не складываются в слова, а проходят мимо, как облака: заметил — и забыл. Он думал о Нине, о том, что сегодня годовщина была бы не в четверг, а в какой-то другой день, и считал дни, и запутался, и бросил. Думал о том, что зима будет холодной, и надо проверить батареи, и что дрова для печи в гараже кончились. Думал о том, что в магазине «Продукты» на углу сменили вывеску — раньше было «Продукты», теперь «Магнит», и от этого почему-то стало грустнее, будто город потерял ещё одну букву своего имени.

Телефон лежал на столе, рядом с хлебницей. Обычный телефон — не смартфон, а простой кнопочный, который Виктор Петрович купил пять лет назад, потому что Нина настояла: «Витя, мало ли что, у тебя сердце, а телефона нет». Сердце у него было в порядке, но он купил, потому что Нина просила. Он не умел ей отказывать. Не потому, что был слаб — просто не видел смысла отказывать человеку, который желает тебе добра.

Звонили редко. Нина звонила, когда он был на работе — «купи хлеб». Сосед звал чинить кран. Одно время звонил

Петрович с третьего этажа, но они поссорились из-за лоджии — Петрович застеклил криво, Виктор Петрович сказал, что криво, Петрович обиделся — и звонки прекратились. Так что телефон был в основном будильником. Но сегодня будильник не звонил — Чубайс заменил.

Звонок раздался в 8:17.

Виктор Петрович не сразу снял трубку. Он допил чай — оставалось на донышке, чуть тёплый, — дожевал бутерброд, вытер руки полотенцем. Не торопился. Он никогда не торопился. Нина говорила: «Витя, ты единственный человек, который может идти за хлебом полчаса». Он отвечал: «А зачем бежать, хлеб никуда не денется».

Он взял телефон. На экране не было номера. Вместо цифр — прочерк, как будто телефон сам не понимал, кто звонит, и лихорадочно искал имя в записной книжке, но не находил.

Виктор Петрович нажал зелёную кнопку.

— Алло, — сказал он.

Тишина. Не пустая тишина — а наполненная. В ней что-то было. Какой-то звук, очень далёкий, будто за стеной, за окном, за дождём. Может, музыка. Может, ветер. Может, ничего — просто тишина, в которой он сам себе придумал звук.

— Алло? Кто это?

И тогда он услышал.

Голос был тихий. Тише шёпота. Будто шёл издалека — из-за толщи воды, или стекла, или времени, или чего-то, для чего нет названия. Он пробивался сквозь помехи, сквозь треск,

сквозь шум дождя, но Виктор Петрович не стал вслушиваться в слова. Он узнал голос раньше, чем слова. Так узнают запах дома, когда возвращаешься из долгой поездки: не носом — всем телом. Так узнают шаги близкого человека на лестнице: не ушами — сердцем.

Он узнал мгновенно. Тридцать пять лет — это не срок, это уже не привычка, это часть тебя, как голос крови, как ритм дыхания. Он мог бы узнать этот голос из тысячи, из миллиона, в шуме, в тишине, в любую погоду, в любое время суток.

— Витя, — сказала Нина. — Это я.

Виктор Петрович закрыл глаза. Темнота за веками была тёплой, безопасной, как в детстве, когда закрываешь глаза и кажется, что мир исчез. Потом открыл. Кухня была на месте: стол, чайник, хлебница, телефон у уха. Дождь за окном. Чубайс на подоконнике. Всё как было. Только теперь всё было не как было.

— Нина? — спросил он.

Голос его, всегда ровный и спокойный — голос человека, который тридцать восемь лет работал у станка и научился не повышать тон, — вдруг стал тонким и чужим. Как у мальчишки. Как у того мальчишки, который провожал её домой с танцев и молчал, потому что не знал, что сказать.

— Витя, не бойся, — сказала Нина. — Мне хорошо. Правда, хорошо.

Голос был тёплым. Не таким, каким он помнил, — буд-

то из него убрали что-то тяжёлое, земное, и осталось только лёгкое, чистое. Как будто голос сбросил тяжесть.

— Мне нужно сказать тебе одну вещь, — продолжила она.

Виктор Петрович молчал. Он не мог говорить. Горло перехватило, как будто кто-то взял его за шею и держал. Не больно — крепко.

— Ты зря не ешь суп, — сказала Нина. — Я каждый день смотрю и вижу: бутерброд, бутерброд, бутерброд. Витя, это же нельзя. Свари себе суп. Нормальный суп. С мясом, с картошкой. Ты же умеешь, я тетрадку оставила, там всё написано. Страница двенадцать, борщ.

Виктор Петрович сглотнул. Голос жены — голос с того света — говорил ему про суп. Про борщ. Про страницу двенадцать в тетрадке, которую она писала тридцать лет, добавляя и исправляя, почёркивая и дописывая, чтобы он, если что, не остался голодным.

Она знала. Она знала, что умрёт первой. Знала и готовила его — не словами, нет. Тетradкой с рецептами. Котом, которого он не хотел, а она — «Витя, возьми кота, одному нельзя». Цветами на подоконнике, за которыми она ухаживала так, будто учила его жить без неё — поливать, заботиться, не бросать.

— И ещё, — сказала Нина, — включи свет в коридоре. Ты ходишь в темноте, а там ступенька. Я каждый раз вздрагиваю, когда ты спотыкаешься.

Виктор Петрович хотел сказать: «Нина, ты жива? Ты где?

Как это возможно?» — но слова не шли. Вместо них — другое. Он понял, что плачет. Не как плачут в кино — громко, красиво, с выражением. Он плакал как человек, который не плакал год, потому что не было кому показать слёзы, и теперь они шли, и он не мог их остановить. Слёзы катились по щекам, по подбородку, капали на рубашку, на стол, на телефон. Он не вытирал. Пусть.

— Нин, — выдавил он, — Нин, я...

— Я знаю, — сказала она. — Я всё знаю. Витя, не плачь. Мне правда хорошо. Здесь тепло и светло, и... я не могу объяснить. Но хорошо. Я хотела только одно сказать: ты зря ждёшь. Не жди. Жить надо, а не ждать. Ты понимаешь?

Он не понимал. Он не хотел понимать. Он хотел, чтобы она говорила ещё и ещё, чтобы этот голос не замолкал, чтобы он сидел на кухне и слушал, и дождь стучал по подоконнику, и Нина говорила ему про суп и свет в коридоре, и всё было бы почти как раньше. Почти.

— Витя, — сказала Нина, и голос стал тише, как будто она уходила, — я тебя люблю. Я и тогда любила, и сейчас. Только это не важно, что я говорю. Важно, что ты делаешь. Не жди. Живи.

И всё.

Связь оборвалась. Не с щелчком, не с гудками — просто исчезла, как звук, который тает в тишине. Экран телефона погас. На нём снова было написано: «Пропущенных вызовов: 0». Как будто ничего не было.

Виктор Петрович сидел на кухне. Чай остыл. Бутерброд лежал на тарелке, недоеденный. Дождь стучал по подоконнику. Чубайс поднял голову, посмотрел на него — долго, внимательно, как смотрят не коты, а люди, — и снова лёг.

Виктор Петрович не стал звонить обратно. Он не стал проверять номер — какой номер, если номера не было. Не стал искать объяснение — какое объяснение, если ты слышал голос жены, и голос сказал «я тебя люблю», и ты знаешь этот голос лучше, чем свой.

Он сидел и смотрел в окно. Дождь шёл. Город жил. Где-то за стеной работало радио — соседка слушала, как всегда. Где-то на улице хлопнула дверь, и кто-то крикнул: «Толик, ты забыл зонт!» Где-то в другом конце Сторожевого женщина, которую Виктор Петрович не знал и никогда не узнает, тоже держала в руках телефон и тоже смотрела в стену, и в её глазах было то же выражение — не страх, не радость, а то, что бывает, когда рушится всё, что ты знал о мире, и на месте руин что-то встаёт — непонятное, невозможное, но настоящее.

Но Виктор Петрович не знал про неё. Он знал только одно: минуту назад он был один. Совсем один. С котом, с дождём, с бутербродом, с тетрадкой рецептов, с жестяной банкой «за доброту», с тапочками у двери, которые некому носить. А теперь — нет. Теперь за ним кто-то смотрел. Кто-то, кто знал, что он спотыкается в тёмном коридоре. Кто-то, кто считал его бутерброды. Кто-то, кто любил его — и там,

и здесь, и везде.

Он встал. Медленно, как человек, который долго сидел и затек. Прошёл в коридор. Нашёл выключатель. Включил свет. Лампочка загорелась — жёлтым, тусклым, но загорелась. Он посмотрел на ступеньку — ту самую, о которой говорила Нина. Потёр края ногой. Да, можно споткнуться. Надо будет починить. Он починит. Он чинил всё.

Вернулся на кухню. Открыл холодильник. Достал картошку — три штуки, морковь — одну, немного кривую, лук — половину, мясо из морозилки — кусок, который он купил на прошлой неделе и забыл, зачем. Поставил кастрюлю на плиту. Налил воды. Зажёг огонь.

Потом достал с полки, за хлебницей, тетрадку. Обычную тетрадку в клетку, сорок листов, обложка потерта, уголки загнуты. Нинин почерк — мелкий, ровный, с наклоном вправо, — шёл по странице, как ручеёк по камушкам. «Борщ. Страница 12.» Он перелистнул. Нашёл. Прочитал.

Мясо — 300 г. Капуста — половинка. Свёкла — одна средняя. Картошка — три штуки. Морковь — одна. Лук — одна. Томатная паста — ложка. Соль — по вкусу. В конце — зелень. В тетрадке было приписано: «Витя, зелень не выбрасывай, она важна. И не клади слишком много соли, ты всегда кладёшь много».

Виктор Петрович прочитал это — и улыбнулся. Впервые за год. Улыбка была кривой, мокрой, некрасивой, но она была.

Он стал варить суп.

Чубайс лежал на подоконнике и наблюдал. Дождь стал тише. Свет в коридоре горел. На плите шкворчало. Кухня пахла — мясом, луком, потом — лавровым листом, и запах был такой, какой бывает только дома, только когда кто-то готовит для кого-то, и этот кто-то — не ты, но для тебя.

Виктор Петрович мешал суп и думал. Думал о том, что сказал бы этому любой разумный человек: что он старый, одинокий, что у него галлюцинации, что нужно пойти к врачу, что мёртвые не звонят по телефону. И может, это правда. Может, разумный человек прав. Может, голос был игрой уставшего мозга, который год жил без Нины и наконец выдумал её.

Но Виктор Петрович не был разумным человеком. Он был слесарем. Слесарь верит не в разум, а в руки. Руки говорят: было — не было. Работает — не работает. Течёт — не течёт. И сейчас его руки стояли на плите, варили суп по рецепту жены, и они не дрожали. А если руки не дрожат — значит, всё правильно.

Вот так, в обычное воскресное утро, в городе, который никто не мог бы найти на карте с первого взгляда, началось то, что позже назовут по-разному: чудом, обманом, проверкой, знаком, массовой истерией, божьим промыслом, технической аномалией и ещё десятком слов, ни одно из которых не будет верным. Но пока — пока никто ничего не знал. Кроме одного старого слесаря, который варил борщ по рецепту

покойной жены, и кота, который лежал на подоконнике и не знал, что мир только что изменился.

Потому что Виктор Петрович Соловьёв был первым.
Но не последним.

Глава 2. Второй звонок

В тот же самый день, в 8:18, телефон зазвонил в другом конце города — в квартире на пятом этаже, где жила Кира, 29 лет, учительница начальных классов.

Её день начинался иначе: не с тишины, а с хаоса. Будильник орал, кот (не рыжий, а полосатый и вредный) прыгал по лицу, ребёнок — её племянник Артём, которого она взяла к себе полгода назад после аварии, где погибли его родители, — кричал: «Я не пойду в садик, там Максим опять толкается!» На кухне грохотали кастрюли, на полу валялся носок, в раковине стояла гора посуды, а Кира стояла посреди этого урагана и пыталась вспомнить, надела ли она сегодня брюки или всё ещё в пижаме.

Она не была сильной. Она была уставшей. Каждый день она собирала себя по кусочкам, как сломанную игрушку, которую всё равно надо отдать ребёнку, чтобы он не плакал.

Телефон зазвонил, когда Кира пыталась застегнуть Артёму курточку, а он выворачивался, как мокрый щенок. На экране высветилось: «Неизвестный номер».

— Да? — выдохнула она, прижимая телефон плечом, пока застёгивала молнию.

И услышала голос.

Не шёпот, не далёкий звук сквозь помехи — а голос, который она узнавала даже во сне. Голос мамы.

— Кирочка, — сказала мама. — Не торопись. Всё будет хорошо.

Кира замерла. Молния осталась наполовину застёгнутой. Артём перестал выворачиваться и уставился на неё.

— Мам? — прошептала Кира. — Это ты?

— Я. И да, я знаю, что это невозможно. Но сейчас неважно, как. Важно, что я здесь. Послушай меня одну минуту. Ты слишком много берёшь на себя. Ты не обязана быть идеальной. Ты просто должна быть рядом. Этого достаточно.

Кира почувствовала, как у неё дрожат руки. Хотелось закричать, заплакать, спросить «как, почему, когда ты вернёшься», но она не могла. Потому что Артём смотрел на неё большими глазами, и если она сейчас сломается, он тоже сломается.

— Я... я не знаю, что делать, — тихо сказала Кира в трубку. — Он не хочет в садик, у меня урок через сорок минут, а я забыла тетрадь с планами, и...

— Тогда сделай одно, — спокойно сказала мама. — Просто обними его. На десять секунд. Не говори ничего. Просто обними. А потом скажи: «Мы справимся». Даже если не веришь. Скажи.

Кира молча притянула Артёма к себе. Он сначала сопротивлялся, потом прижался, уткнулся носом в её свитер, и она почувствовала, как его маленькое тело дрожит.

— Мы справимся, — сказала она. И в этот раз ей почти удалось поверить в эти слова.

— Вот и хорошо, — сказала мама. — А теперь иди. И не забудь тетрадь. Она на холодильнике. Ты вчера оставила её там, когда пила чай.

Кира подняла глаза. И правда — на холодильнике лежала её тетрадь. Та самая, без которой она не могла провести урок.

— Как ты... — начала она.

Но в трубке уже была тишина.

Кира медленно опустила телефон. Посмотрела на Артёма. Он смотрел на неё, будто ждал, что сейчас случится что-то страшное.

— Ну что, — сказала Кира, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Пойдём. Если Максим опять будет толкаться, скажешь воспитателю. А если не захочешь — я сама с ним поговорю. Но мы пойдём. Потому что мы справимся.

Артём кивнул.

Они вышли из квартиры. Кира закрыла дверь, и в тот момент, когда щёлкнул замок, она вдруг поняла: она не одна. Не в том смысле, что рядом Артём. А в том, что где-то есть кто-то, кто помнит, где она оставила тетрадь. Кто знает, как ей тяжело. Кто верит в неё, даже когда она сама не верит.

А в это время, в другом конце Сторожевого, Виктор Петрович помешивал борщ. И впервые за год чувствовал, что готовит не просто еду. Он готовит что-то, что можно кому-то

дать.

Глава 3. Перекрёсток

В Сторожевом не было настоящей площади — была просто широкая часть улицы, где сходились три дороги и стоял киоск с газетами. По утрам там собиралась толпа: кто-то спешил на автобус, кто-то покупал хлеб, кто-то просто стоял и смотрел, как город просыпается. В этом месте всегда будто становилось чуть больше воздуха, будто город делал вдох.

Именно сюда и пришёл Виктор Петрович в понедельник. Не по делу — просто ноги сами вывели. Он не любил сидеть дома в будни: тишина начинала говорить слишком громко, и слова у неё были тяжёлые. А тут — люди, голоса, скрип колёс, запах свежего хлеба из пекарни, которая открывалась ровно в семь. Тут можно было просто постоять, посмотреть, как женщина в синем пальто ругает кота, который утащил сосиску, и почувствовать: мир идёт вперёд, и ты вместе с ним.

Он остановился у киоска, достал из кармана мелочь, пересчитал. Хотел купить газету, хотя читать не собирался — просто чтобы было что держать в руках. Пока он возился с монетами, из-за угла вылетела Кира, таща за руку Артёма. Мальчик упирался, тащил ноги, а Кира, в пальто нараспашку и с сумкой, сползающей с плеча, пыталась одновременно не уронить ключи, удержать ребёнка и не споткнуться о выбоину в асфальте.

— Артём, ну пожалуйста, мы уже опаздываем! — выдохнула она, и голос у неё был не строгий, а вымотанный, как у

человека, который повторяет одно и то же уже в сотый раз.

Артём шмыгнул носом, посмотрел на киоск, потом на Виктора Петровича. И вдруг замер.

Виктор Петрович тоже замер. Он не знал, что делать с чувствами детьми, особенно с такими упрямыми. Но он знал, что когда человек устал, ему не нужны советы. Ему нужен кто-то, кто просто встанет рядом и скажет: «Я тут. Я помогу, чем смогу».

— Тяжёлый день? — тихо спросил он Кире, не глядя прямо, чтобы не смущать.

Кира подняла на него глаза — и в них на секунду мелькнуло такое облегчение, будто она увидела спасательный круг в бурном море.

— День как день, — сказала она, но голос дрогнул. — Просто... всё сразу.

— Бывает, — кивнул Виктор Петрович. — Когда всё сразу, лучше не бежать. Бежать — только хуже.

Артём, будто почувствовав, что на него перестали давить, перестал упираться. Он подошёл к киоску и ткнул пальцем в витрину, где лежали леденцы на палочках.

— Хочу, — сказал он.

Кира закрыла глаза на секунду, будто считала до десяти.

— У нас нет времени. И денег на леденцы тоже.

Виктор Петрович молча достал из кармана ещё одну монету — ту самую, которую собирался потратить на газету. Протянул киоскёрше.

— Один леденец, пожалуйста.

Киоскёрша посмотрела на него, потом на Киру с Артёмом, хмыкнула, но взяла монету и протянула мальчику леденец.

Артём схватил его, тут же сорвал обёртку и сунул в рот. Лицо его мгновенно изменилось: из упрямого и обиженного оно стало просто детским — с этим липким счастьем, которое бывает только от сладкого и только утром.

— Спасибо, — тихо сказала Кира. Голос у неё дрожал, но теперь уже не от усталости, а от благодарности. — Я вам... я потом...

— Не надо, — спокойно ответил Виктор Петрович. — Это не деньги. Это просто время. Я его вам отдал.

Кира кивнула, не находя слов. Она посмотрела на Артёма, на леденец, на Виктора Петровича, и в её голове вдруг щёлкнуло что-то важное: не всё в мире ломается так, что нельзя починить. Иногда достаточно одной монеты, одного слова, одного человека, который просто стоит рядом и не торопит.

— Мы в садик, — сказала она Артёму, уже мягче. — А потом я на работу. Ты будешь с воспитателем, а я буду думать о тебе и знать, что ты в порядке.

Артём кивнул. Он уже не упирался. Он сосал леденец и смотрел на Виктора Петровича так, будто тот был каким-то добрым волшебником, который появляется, когда всё идёт не так.

Они пошли дальше, Кира всё ещё держала его за руку, но уже не тянула, а просто держала, как держат, чтобы не

потерять.

Виктор Петрович посмотрел им вслед. И вдруг понял: он впервые за год сделал что-то не потому, что «надо», и не потому, что «я один, и никто кроме меня», а просто потому, что увидел, кому тяжело, и захотел помочь. Без плана. Без ожиданий. Просто так.

И в этот момент ему показалось, что где-то рядом, совсем близко, Нина тихо улыбнулась.

А днём, когда Кира вела свой урок и пыталась объяснить детям, почему в слове «молоко» две буквы «о», она вдруг почувствовала, что может. Что она не идеальная, не супергерой, не мать, не учительница, не спасительница — она просто человек, который старается. И этого достаточно.

После уроков она шла домой, и ноги сами привели её к той самой широкой части улицы, где утром стоял тот мужчина с добрыми глазами. Она хотела просто сказать «спасибо». Не за леденец — за то, что он увидел её усталость и не стал её стыдить.

Она нашла его не у киоска, а чуть дальше, у старой скамейки, где он чинил сломанную ручку у чьей-то хозяйственной сумки. Рядом стояла женщина и смущённо благодарила, а Виктор Петрович только пожимал плечами:

— Да что там, дело нехитрое.

Когда женщина ушла, Кира подошла.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я... я хотела сказать спасибо. За утро. За то, что не прошли мимо.

Виктор Петрович поднял на неё глаза. Он не сразу вспомнил, кто она, но потом кивнул, будто вспомнил не лицо, а чувство — ту самую усталость, которую он тогда увидел.

— Пожалуйста, — сказал он. — В нашем городе нельзя мимо проходить. Тут все друг друга знают. Или должны знать.

Кира улыбнулась. Улыбка была робкой, но настоящей.

— Меня зовут Кира.

— Виктор Петрович, — ответил он. — Но можно просто дядя Витя. Так все зовут.

— Дядя Витя, — повторила Кира, и это прозвучало как-то по-домашнему, тепло. — А вы... вы всегда так помогаете?

— Стараюсь, — пожал плечами Виктор Петрович. — Руки есть, время есть. Чего не помочь?

Кира посмотрела на него и вдруг почувствовала, как внутри что-то щёлкнуло, как замок, который долго не открывался. Она вспомнила голос мамы в телефоне, её слова: «Ты не обязана быть идеальной. Ты просто должна быть рядом». И вот он — рядом. Не мама, конечно. Но человек, который делает мир чуть менее страшным.

— Знаете, — сказала она, — мне сегодня было очень тяжело. А потом... потом стало легче. Просто потому, что кто-то протянул монету и не стал читать нотаций.

Виктор Петрович кивнул, будто это была самая важная вещь, которую ему сегодня сказали.

— Тяжело бывает всем, — тихо сказал он. — Просто не

все говорят.

Они помолчали. Где-то рядом кричала ворона, ветер гнал по тротуару обрывок газеты, а город жил своей обычной жизнью. Но для них двоих в этот момент мир стал чуть меньше, чуть уютнее, будто они нашли свой собственный островок, где можно выдохнуть.

— А можно я вас кое о чём попрошу? — вдруг сказала Кира. — У меня на кухне кран течёт. Я уже три тряпки подставила, но вода всё равно капает. И... я не знаю, как это починить.

Виктор Петрович улыбнулся. Улыбка у него была не широкая, не показная, а такая, какая бывает у человека, которому наконец-то есть куда приложить свои руки.

— Покажите, — сказал он. — Я посмотрю.

Так их линии пересеклись. Не из-за чуда, не из-за магии, а из-за самой обычной человеческой доброты, которая в маленьких городах держится на том, что никто не проходит мимо.

Но где-то в глубине этого обычного дня пряталось и что-то необычное. Потому что, когда Виктор Петрович вечером вернулся домой, Чубайс встретил его у двери, а на столе лежала записка, которую он не писал. На листке из тетрадки в клетку аккуратным, знакомым почерком было выведено:

«Спасибо, Витя. Ты всё делаешь правильно».

Виктор Петрович долго смотрел на записку. Потом аккуратно сложил её и спрятал в жестяную банку из-под чая —

туда, где хранились деньги «за доброту».

Потому что теперь он понял: доброта — это не только когда ты помогаешь. Это когда тебе дают понять, что твоя помощь замечена. И что ты не один.

Глава 4. Тот, кто не верит

В каждом городе есть человек, который не верит. Не потому что злой, не потому что глупый — а потому что устройство у него такое. Как у чайника: кипит только при ста градусах, а при девяноста девяти — ещё нет, ещё не верит, ещё ждёт доказательств. Таким человеком в Сторожевом был Сергей Анатольевич Дорогин, пятьдесят четыре года, бывший следователь, ныне пенсионер МВД, а по совместительству — редактор единственной в городе газеты «Сторожевской вестник», которая выходила раз в неделю, печаталась на четырех страницах и читалась исключительно в очереди к врачу, потому что больше читать было негде и нечего.

Сергей Анатольевич был человеком принципиальным. Это слово в Сторожевом произносили с разными интонациями: одни — с уважением, другие — с раздражением. Он не брал взятки, когда был следователем, и это в городе, где взятки считались не грехом, а валютой. Он доводил дела до конца, даже когда все вокруг говорили: «Зачем, Серёг, ну зачем, человек же не злодей, просто оступился». Он не отвечал, потому что верил не в людей — в факты. Факт не может быть злым или добрым. Он просто есть. И если факт есть, значит, есть и правда, а если правды нет — значит, нет и факта, и

разговор окончен.

В газету он пришёл после пенсии, потому что сидеть дома не умел. Жена, Тамара Ивановна — та самая, с третьего этажа, которая когда-то принесла Виктору Петровичу Чубайса, — сказала: «Серёжа, ты мне весь дом замучил. Иди работай». Он пошёл. Открыл газету, потому что в Сторожевом газета — это не бизнес, это миссия. Тираж — триста экземпляров. Реклама — одна (похоронное бюро «Покой», с текстом, который Сергей Анатольевич сам и сочинил, потому что владелец бюро был безграмотен). Зарплата — символическая, но symbolic и зарплаты хватает, когда главная цель — не деньги, а порядок.

Газета писала о том, что в городе ломался водопровод, что на рынке продавали просроченный творог, что собака Зинаида с улицы Лесной опять укусила почтальона. Сергей Анатольевич проверял каждый факт. Он ездил на место, фотографировал, опрашивал свидетелей, записывал показания. Журналистика у него была не журналистикой, а следствием, только без ордера и без прокуратуры.

Когда первые слухи о звонках дошли до него, он не поверил. Не потому что не хотел — потому что не мог. В его системе мира мёртвые не звонят по телефону. Телефон — это провода, волны, серверы, операторы связи. Мёртвые — это земля, тишина, память. Эти два мира не пересекаются. Точка.

— Тамара, — сказал он жене за ужином, — ты слышала,

что в городе говорят?

— Слышала, — ответила Тамара Ивановна, не поднимая глаз от тарелки.

— И что ты думаешь?

— Думаю, что если человеку звонит его покойная мама и говорит, что ей хорошо — это не преступление.

— Это не вопрос преступления. Это вопрос факта. Нет факта — нет истории. Нет истории — нет газеты.

— Серёжа, — вздохнула Тамара Ивановна, — ты единственный человек в мире, который может из чуда сделать со-
вещание.

Он промолчал, но в голове уже складывался план. Не план статьи — план расследования. Потому что если в городе происходит что-то, что затрагивает сразу нескольких человек, и у всех одинаковые показания — это уже не слух. Это феномен. А феномен надо исследовать, даже если он противоречит твоему устройству мира. Особенно если противоречит.

В четверг утром Сергей Анатольевич взял блокнот, ручку, диктофон (старый, кассетный, он не доверял цифровым — цифру можно подделать, кассету труднее) и вышел из дома.

Первым делом он пошёл к Лидии Михайловне с четвёртого этажа — той самой, которой «позвонила мать». Лидия Михайловна была женщиной осторожной, боязливой и набожной в той особой мере, которая характерна для людей, верящих во всё сразу: и в Бога, и в порчу, и в приметы, и в гороскопы, и в то, что если чихнуть три раза — кто-то вспо-

минает. У неё в коридоре висели иконы, под иконами — календарь с котиками, а под календарём — талисман из доставки пиццы (бесплатный, но Лидия Михайловна уверяла, что приносит удачу).

— Лидия Михайловна, — начал Сергей Анатольевич, усаживаясь в предложенное кресло (кресло было завалено подушками, и сидеть в нём было неудобно, но Лидия Михайловна настаивала), — я хочу поговорить с вами о телефонном звонке.

Лидия Михайловна побледнела.

— Откуда вы знаете?

— Город маленький. Все знают. Расскажите, как было.

Она рассказала. Голос матери. Слова про прощение. Тишина в трубке. Пропущенный вызов: ноль. Сергей Анатольевич записал всё, не перебивая. Потом спросил:

— Когда это было?

— В воскресенье. Утром. Часов в восемь.

— Воскресенье, — повторил он. — Утро. Как у Соловьёва.

— У дяди Вити тоже? — Лидия Михайловна всплеснула руками. — Я не знала! Я думала — только у меня!

— Только у вас? — переспросил он. — Почему «только»?

— Ну... я думала, что это... лично. Что мама позвонила только мне.

Сергей Анатольевич записал: «Лидия Михайловна, воскресенье, ~8:00. Голос матери. Тема — прощение. Уверена,

что звонок был личным, не знала о других случаях».

Вторым был Николай Зуев, сорок один год, электрик, живший на улице Лесной. Ему позвонил брат. Брат утонул восемь лет назад в реке — той самой, что пересыхала летом и разливалась весной. Брат был пьян, пошёл купаться вечером, не справился с течением. Николай тогда не спал трое суток, пока искали тело. Нашли в камышах, в трёх километрах от моста.

— Он сказал, что не злится, — рассказывал Николай, сидя на корточке у своего гаража, где он ковырялся в мотоцикле. Голос был ровный, но глаза блестели. — Сказал: «Коль, я не злюсь на тебя. Ты не виноват. Я сам полез в воду. Перестань себя винить». А я... я восемь лет винил. Каждый день. Думал: если бы я был рядом, если бы я забрал у него ключи от гаража, если бы я не ушёл раньше...

— Когда позвонили? — спросил Сергей Анатольевич.

— В воскресенье. Утром. Минуты три-четыре.

— В какое время?

— Не знаю точно. Около восьми, наверное. Я как раз хотел идти в гараж.

Сергей Анатольевич записал: «Зуев, воскресенье, ~8:00. Голос брата. Тема — снятие вины. Восемь лет траура».

Третьей стала Кира.

Он нашёл её в школе, на перемене. Она стояла у окна в коридоре и смотрела на двор, где дети бегали в учебной физкультуре — бежали по кругу, падали, вставали, бежали сно-

ва. Кира смотрела на них с таким выражением, с каким смотрят на что-то хрупкое, что может разбиться в любой момент.

— Кира Андреевна? — спросил Сергей Анатольевич, подходя.

— Да?

— Меня зовут Дорогин, я редактор газеты «Сторожевской вестник». Хочу задать несколько вопросов.

Кира напряглась. Это было видно — плечи поднялись, спина стала прямее, будто она готовилась к удару. Сергей Анатольевич заметил это — профессиональная привычка: читать тело раньше, чем рот.

— Не о работе, — добавил он мягче. — О звонке.

Кира посмотрела на него. Долго. Потом сказала:

— Откуда вы знаете?

— Я редактор. В маленьком городе редактор знает всё, даже то, чего не знает. Расскажите.

Кира рассказала. Голос мамы. Слова про то, что она не обязана быть идеальной. Тетрадь на холодильнике. Тишина. Пропущенный вызов: ноль.

— Ваша мама погибла?

— Да. Полгода назад. Автокатастрофа. Вместе с папой. Их... сбил грузовик на трассе.

— Когда позвонили?

— В воскресенье. Утром. Около половины девятого.

Сергей Анатольевич записал: «Кира, воскресенье, ~8:15-8:20. Голос матери. Тема — поддержка, разрешение не

быть идеальной. Тетрадь на холодильнике — точное знание деталей. Полгода траура».

Четвёртым стал Виктор Петрович.

Сергей Анатольевич нашёл его во дворе дома семнадцать, где тот сидел на скамейке и смотрел на дождь. Рядом, свернувшись клубком, лежал Чубайс — на скамейке, под локтем хозяина, будто ему было всё равно на дождь, лишь бы рядом.

— Соловьёв, — сказал Сергей Анатольевич, садясь рядом. — Я по делу.

— По какому делу? — спросил Виктор Петрович, не поворачиваясь.

— По звонку. Который был в воскресенье.

Виктор Петрович молчал долго. Так долго, что Сергей Анатольевич уже решил — не скажет. Но потом Виктор Петрович повернулся и посмотрел на него. В глазах его не было страха, не было настороженности. Была усталость. И что-то ещё — что-то, чего Сергей Анатольевич не мог определить, но что беспокоило его больше всего.

— Я не буду об этом говорить, — сказал Виктор Петрович. — Это не для газеты.

— Это не для газеты, — ответил Сергей Анатольевич. — Это для правды.

— Правда в том, что мне позвонила жена. Что она сказала — это между мной и ней. Вы можете записать факт: звонок был. Подробности — нет.

Сергей Анатольевич кивнул. Он умел уважать границы —

редкое качество для человека, который всю жизнь их нарушал.

— Когда?

— Воскресенье. 8:17.

— Точно?

— Точно. Я посмотрел на часы. Привычка — тридцать восемь лет на заводе, там минуты считают.

Сергей Анатольевич записал: «Соловьёв, воскресенье, 8:17. Голос жены. Тема — отказался уточнять. Год траура. Точность времени — исключительная».

Вечером, дома, Сергей Анатольевич разложил записи на столе. Тамара Ивановна уже спала, кот (не Чубайс, а другой — серый, named Барсик, потому что в Сторожевом имена котам давали по какому-то неведомому принципу) дрых на телевизоре, и было тихо. Сергей Анатольевич любил эту тишину — тишину, в которой думается.

Он выписал факты в столбик:

Лидия Михайловна — воскресенье, ~8:00. Звонила мать. Тема: прощение. Мать умерла 3 года назад. **Николай Зуев** — воскресенье, ~8:00. Звонил брат. Тема: снятие вины. Брат умер 8 лет назад. **Кира** — воскресенье, ~8:15-8:20. Звонила мать. Тема: поддержка. Родители погибли 6 месяцев назад. **Виктор Петрович** — воскресенье, 8:17. Звонила жена. Тема: отказался говорить. Жена умерла год назад.

Четыре человека. Один день. Один промежуток — от восьми до восьми тридцати утра. Все звонки — от мёртвых

близких. Все — без номера, без записи, без следа. Все — с советом, с утешением, с чем-то, что человеку нужно было услышать.

Сергей Анатольевич смотрел на эти записи и чувствовал то, чего не чувствовал давно: странное волнение. Не страх, не трепет — профессиональный азарт. Как у охотника, который видит след, но не видит зверя. Зверь есть — след свежий. Но какой зверь? И куда ведёт?

Он взял красную ручку и обвёл в записях одно слово, которое повторялось у всех четверых: «воскресенье».

Потом встал, подошёл к календарю на стене, посмотрел на ближайшее воскресенье. До него оставалось три дня.

«Если это система, — подумал он, — она повторится. Если нет — это было одноразовое событие, и я не найду ничего».

Он вернулся к столу и дописал в блокнот:

****Задача: дождаться воскресенья. Быть готовым. Если звонок повторится — зафиксировать. Если нет — искать другую связь.»**

Потом, после паузы, дописал ещё одну строчку — мелко, будто стесняясь собственных мыслей:

Вопрос: что если звонки — это не от мёртвых, а от кого-то живого?

Он посмотрел на эту строчку, покачал головой и зачеркнул. Потом, подумав, написал заново — уже не зачёркивая. Потому что следователь не зачёркивает гипотезы, пока не

проверит каждую.

В пятницу город проснулся с новой мыслью. Не с одной — с десятком. В «Магните» у кассы, у киоска с газетами, на остановке, у школы, у рынка — везде шептали. Шёпот был особенный: не громкий, но густой, как туман. Люди говорили, наклонившись друг к другу, говорили вполголоса, говорили так, будто слова могли кого-то разбудить.

— Слышал? Дорогин из газеты расследует. — Да он что, верит? — Он не верит. Он проверяет. Это у него болезнь. — А я слышала, что звонков было не четыре, а одиннадцать. — Одиннадцать? Да вы что? Мне сказали — двадцать. — Двадцать? В нашем-то городе? Это же каждый второй. — Не каждый второй. Каждый, у кого кто-то умер.

И это было самое страшное — не то, что звонили, а то, что каждый, кто потерял, теперь ждал. Ждал звонка. Ждал, что телефон зазвонит в воскресенье утром, и на том конце будет голос, который они так долго хотели услышать. И пока ждали, они делали то, чего не делали давно: вспоминали. Не как вспоминают на похоронах — мрачно, с тяжестью. А как вспоминают в детстве — с теплом, с улыбкой, с желанием сказать то, что не успел.

Кира заметила это в школе. Дети стали тише на переменах. Не все — но некоторые. Те, кто потерял. Девочка из третьего класса, Даша, у которой умер дед, пришла с портретом в рюкзаке — фотография в рамке, которую она никому не

показывала, но носила с собой. Мальчик из первого, Стёпа, у которого погиб отец в командировке, стал рисовать дома — один и тот же дом, с красной крышей и деревом у входа, снова и снова, на каждом листе.

Кира смотрела на это и думала: может, дело не в том, звонят или не звонят. Может, дело в том, что люди наконец перестали прятать свою боль. Перестали делать вид, что «всё нормально», что «прошло», что «живём дальше». Может, эти звонки — настоящие они или нет — сделали то, чего не мог сделать ни один психолог: дали разрешение горевать вслух.

А Сергей Анатольевич в пятницу сделал то, чего не делал никогда: попросил жену о помощи.

— Тамара, — сказал он, когда они сидели на кухне после ужина, — у тебя есть знакомые, которые потеряли близких?

— Серёжа, у меня весь дом — знакомые, которые потеряли. Это же Сторожевое, а не Москва. Тут все кого-то потеряли.

— Мне нужен список. Все, кто получил звонок. Я хочу знать, сколько их.

— Ты собираешься писать об этом в газете?

— Нет. Я собираюсь понять.

Тамара Ивановна посмотрела на него. Долго. С тем выражением, с каким смотрят на человека, которого любишь тридцать лет и который вечно лезет туда, куда не надо. Потом встала, открыла ящик кухонного стола, достала тетрадку

— не такую, как у Нины, а обычную, в линейку — и стала писать. Имена. Адреса. Кого потеряли. Когда.

Через час список состоял из девятнадцати человек.

Девятнадцать. В городе тридцать тысяч. Девятнадцать — это немного. Но если все девятнадцать получили звонок в одно и то же воскресенье, в один и тот же час...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.